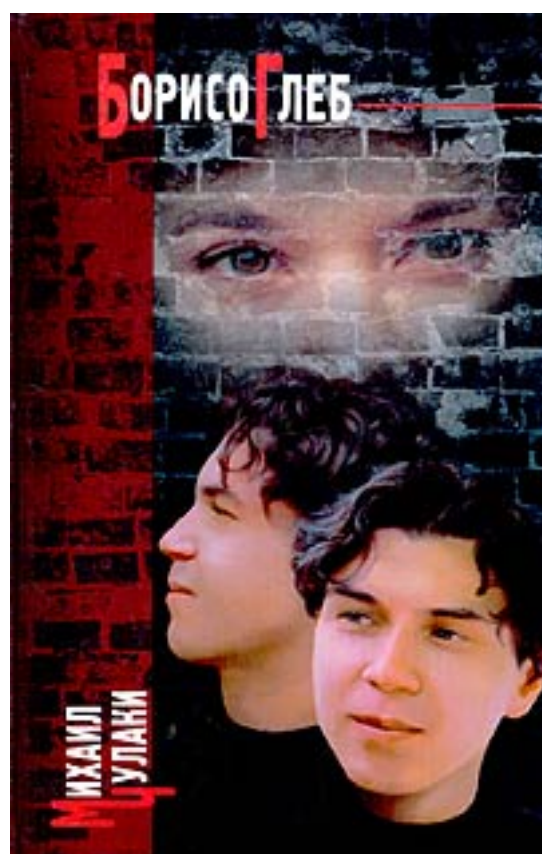




Михаил Чулаки
Во имя Мати, Дочи и Святой души

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166658

*Чулаки М. БорисоГлеб: Авторский сборник: Продолжение Жизни; М.; 2004
ISBN 5-94730-040-0*

Аннотация

В повести «Во имя Мати, Дочи и Святой Души» разворачиваются картины деятельности тоталитарной секты с ее садомазохистскими ритуалами, картины, потрясающие своим страшным реализмом.

Содержание

1	4
2	7
3	9
4	11
5	14
6	17
7	20
8	23
9	27
10	33
11	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Михаил Чулаки

ВО ИМЯ МАТИ, ДОЧИ И СВЯТОЙ ДУШИ

1

Папуся с мамусенькой принимали постепенно. Капали в белую водку «Красную Москву» – «чтоб ароматерно».

Такой постепенный перегрев у них случается нечасто, но обязательно – на новую Луну. Мамусенька Луну чувствует нутром, как ведьма или волчица. В обычные дни пьют просто и глухо, а на новую Луну наливаются постепенно, вдыхая «ароматерный» дух.

Папуся уже озвучил с деликатной отрывкой свое неизменное:

– Правомерное принятие – улучшает восприятие.

Рифмы в нем забродили.

Клава на себе знала, чем разброд рифм закончится. Мамусенька первая начнет:

– Клавка вчера со двора не шла. В школе опять училка жаловалась. Себя не жалеешь, в люди ее тащишь, а она – соплюха неблагодарная. Не зря я ее выкинуть хотела, да пожалела сдуру.

Потом и папуся распалится:

– Горблю на нее, а она одно знает: жопой заводной крутить.

– Вот и поучи ее по жопе! – как будто в первый раз догадается мамуся.

Папуся потянется за старым своим ремнем. Еще солдатским.

– Потому что мы не такие были. Старших слушали и родителей радовали. А у этих только сексы и сникерсы на уме! – станет распалиться.

У папуся давно живот как мешок с картошкой и штаны держатся на подтяжках, но ремень он сохраняет специально на Клаву.

Тут уж не убежать. Мамуся хватает Клаву и валит на кровать, лицом в вонючий матрац без простыни. Папуся стаскивает разом и джинсы старые и грубые трусы из дерюги, какие никто в классе не носит. У всех девчонок – гарнитуры, а у Клавы – трусы семейные.

Клава напрягается, ожидая первый удар, но мамуся опытной рукой поглаживает ее попку и кричит:

– Чего затвердела? Расслабься, дура! Когда ебут, расслабляться надо!

Клава покорно расслабляется – и принимает первый удар.

Больно. Очень больно.

Но с какого-то момента и сладко стало делаться. С недавних пор сладость к боли добавилась.

Запыхавшись, папуся лезет всей ладонью с пальцами под Клаву снизу и щупает.

Сладость возрастает, но Клава терпит.

– Сухая еще, – объявляет папуся и хлещет дальше.

Наконец Клава не выдерживает и писается маленькой порцией.

Папуся лезет снова. Шарит придирчиво пальцами.

– Мокрая, – радостно объявляет он, и порка прекращается.

Для Клавы.

– Теперь и тебя, суку, надо! – рычит папуся на мамусеньку.

– Куда тебе! – подначивает мамусенька.

– Известно, куда.

– Поняла, дура? Расслабляться надо! – не забывает мамусенька материнский долг.

И воспитывает личным примером.

Клава всё видит. В упор.

Папуся с мамусенькой засыпают наконец на своей кровати. Как трудились, так и засыпают – в двухъярусной позе. А Клава еще долго не спит. Отползает на свой диван и смотрит в окно.

Вот так – редко, но регулярно ее воспитывают: на новую Луну.

И Бог всё видит, как тоже учит мамусенька. Водит к Спасу и заставляет свечи ставить. Всё Он видит, но ни разу еще Он Клаве не помог.

Но сегодня Клаве не захотелось дожидаться, когда папуся с мамусенькой перегреются и полезут с поркой.

Она пошла боком к двери.

– Куда намылилась?! – заметила мамуся.

– Куда! Побрызгать хочется.

– Смотри. Быстро назад. Станешь на кухне болтаться – убью потом!

На кухне колдует над кастрюлями соседка Антонина Ивановна.

– Чего, Клашенька? Опять бедуешь? Дерутся твои? А бомбочку хочешь? Ликё-ёрную!

Соседка ликерными конфетами зря не разбрасывается. У нее сын Павлик – дурачок. Огромный и бессмысленный. Павлик не говорит, а мычит только, и имени своего не очень понимает. Иногда он начинает «колобродить», и однажды в коридоре, заколобродив, прижал Клаву. И с тех пор Клава с соседкой приспособились в полном согласии: как Павлик заколобродит, соседка зазывает Клаву к себе, Павлик сажает ее на жирные мягкие колени и начинает ползать по ней толстыми пальцами. Начинает сверху и спускается туда же – куда и папусяк лезет проверить, сухая ли еще и пороть ли дальше? Павлик спустится, посопит и успокоится. А соседка за это еще и большую конфету с ликером даст – бомбочку. И через мамусю подарки Клаве добавляет – тряпки всякие поношенные, пироги на праздники. Мамуся берет, а про пристрастия Павлика не догадывается. Догадалась бы – убила!

– Не могу сейчас, тетя Тонь. Мамусенька ждет.

– Зайди на минутку, Клашенька. Мой совсем – заколобродил.

– Потом, может. Заснут мои.

Клава двинулась к себе. А соседка следом. Как бы случайно – ведь по дороге им из кухни.

Но перед Клавиной дверью соседка резко схватила ее сзади, толкнула к своей двери и вдавила в комнату. А там сразу перехватил дурной сопящий Павлик.

И не вырваться.

Павлик сегодня сопел и ползал пальцами дольше чем обычно.

Павлик хоть и дурной, но добрый, больно ей никогда не сделал, и Клава даже рада бывает ему помочь, тем более, что ей и не стоит ничего. Но сейчас она сидела вся окаменелая и слушала только, что за дверью делается. Расслабиться не могла.

И услышала – мамусенькины крики в коридоре:

– Где Клавка?! Где сука моя?!

Антонина выскочила в коридор, врала громко:

– Шла она! Видала я! На лестницу пошла! Я подумала, ты ее послала. В магазин или куда.

Вернулась довольная:

– К себе пошла. А то бы сюда полезла.

– Она же теперь убьет! – заплакала Клава.

– К утру успокоится. Она с вечера такая, а отдерет ее как следует твой папаша – и успокоится. Папаша твой может – отодрать как следует, – засмеялась соседка масляно.

– А где же я ночью?

– С Павликом перележишь. И ему легче – торопиться не к спеху.

Павлик наконец засопел часто – и выдохнул.

Клава знала этот выдох, сама встала. И он не держал.

Но пролежать с этим жирным бессмысленным боровом целую ночь было противно и представить на минутку. Это совсем другое – не то, что присесть к нему на бегу.

Разгрызая подряд вторую бомбочку – расщедрилась ради сыночка колдунья старая – Клава думала.

И когда соседка снова ушла на кухню – доколдовывать над кастрюлями, Клава тихо вышла в коридор, огляделась, не увидела никого – и пробежала к входной двери.

Вышла на лестницу, неслышно защелкнула за собой дверь и пошла вниз. Солидно и неспеша, как взрослая.

А кто сказал, что она не взрослая? Уже полгода как красные дни носит.

2

Вышла она в чем была – в джинсах и свитерке.

Дождя не было, а ветра много. Но май ведь уже, весна, мерзнуть не полагается. Скоро последние двойки растают и утекут – каникулы близко.

Клава пошла на свет: по своей полутемной Маяковке в сторону Невского. На Невском всегда что-то случается.

Но и дойти не понадобилось. Прямо напротив роддома к ней почти прижалась бесшумная тачка. Плавная и блестящая – высокий класс.

Выскочила на панель женщина в коже с перстнями и кулоном.

– Куда пошла одна, пацанка?! Не знаешь, что нельзя маленьким поздно? Марш-марш сюда быстро!

Схватила Клаву за руку и вдернула в машину.

В такую машину и вдернуться приятно.

Клава с теткой плюхнулись сзади.

Впереди рядом с водилой – мужик. Только большие плечи видны.

Тепло и рессоры покачивают. Захотелось задремать.

– Чего шляешься? Куда шла?

– Мать за бутылкой послала, – соврала Клава и испугалась: вдруг проверят, что денег при ней нет.

– Хорошая мать, – вздохнула тетка. – У меня бы ты только за пирожными в магазин бегала.

И спросила мужика – так, будто и не слышала рядом Клава:

– Ну что – подберем ее? Годится?

– А что с нее? В общую кучу если? Для тех, кто эти кильки любит?

– Кильку сейчас многие любят. Не всем лососину жирную.

– Если б девочка.

– А вдруг, – и повернулась к Клаве: – Тебе двенадцать-то есть?

– Четырнадцать! – обиделась Клава. – Я уже большая. Красные дни ношу.

– Килька-то – вон! Почти сардинка. Сейчас все длинные, не разберешь, – и снова к Клаве: – Чего мать-то: за мужиками посылает тебя?

– Нет! Она бы убила!

– Убила бы? Это хорошо. Ну-ка?

И опытным движением разом и расстегнула, и спустила ей джинсы.

– Ну-ка, говорю! Не зажимайся ты!

Клава покорила ее пальцам, которые проникли глубже, чем это делал даже Павлик, не говоря о папусе.

– Точно! Девочка и есть! Натуральная! А говорят, нравов вовсе не осталось.

Обследование закончилось, но палец задержался. Только он стал по ощущению не медицинский, а совсем другой.

– Смотри, какую рыбку сняли. Килечку-кольпиночку, – обрадовался мужик. – Девочку Федотик хотел.

– Позовешь завтра, – почти пропела тетка в коже странным голосом.

Даже мужик расслышал:

– Ты чё?

– Целочка-прицелочка, – пропела тетка. – Мне тоже редко достаются. Не всё Федотику.

– Тьфу! Вот уж этих штучек не люблю!

– Только Федотик подождет, – пропела тетка. – На такую рыбку еще и старых осетрин найдется! Без ущерба. А Федотик потом.

Машина затормозила. Тетка убрала руку, перегнулась через Клаву, распахнула дверь и резко вытолкнула Клаву наружу – как та была, с джинсами, путающимися в ногах.

Темно и пусто на улице, но Клаве показалось, что ее голизна осветила дома вокруг. И все смотрят сквозь окна.

Тетка наклонилась, потянула снизу одежды.

– Фу, какое трико грубое. Гарнитур для бедных.

И сама всё застегнула на Клаве – как на маленькой.

3

Они поднялись в лифте и оказались в квартире, в какой Клава и не бывала никогда. Только по телевизору видала в мексиканских фильмах. Так с телевизора и завидовать нечего, там всё далеко: за экраном.

Мужик куда-то исчез, а женщина хлопотала вокруг «маленькой гостыи», как она повторяла к большому удовольствию Клавы.

– Сюда. Белесенькая какая. Вот здесь будем спаиньки. Только сначала маленькую гостыю помоем и переоденем. Стой ты, – вдруг резко, и снова ласково: – Я всё сама.

Она снова умело расстегивала все молнии и пуговики.

– Женское дело – штанишки снимать, запомни на всю оставшуюся жизнь. Да и в раю, наверное, то же самое: а иначе – какой же рай? Остальное всё врут – и учителя, и политики всякие. Писатели тоже врать мастаки: литературу себе придумали. Штанишки спускать и расслабляться – вот и вся жизнь женская. Будешь штанишки спускать вовремя – будешь жить в любви и кайфе. Вовремя, но как можно чаще. Вот так. И такую писеньку никто еще своим грязным еблом не пропырлял. Сейчас помоемся и подмоемся.

Она увлекла Клаву в огромную ванную – куда больше их квартирной кухни. Сверкающую как операционная, где Клаве год назад выдирали гланды. Тут было всё: ванна полукруглая и горшок обычный, и похожее на горшок приспособление с кранами.

Незаметно как-то тетка и сама разделась, оказавшись толще и дряблее, чем показалась на улице в темной коже.

– Зови меня Наташей, понятно?

– Понятно, тетя Наташа, – постаралась Клава ответить как можно вежливее.

– Какая тебе тетя? – тетка как бы в шутку, но довольно больно хлестнула Клаву по щеке. – Наташей. Как старшую подружку твою. Ну-ка? «Я тебя люблю, подружка Наташа» – повтори!

– Я тебя очень люблю, подружка Наташенька, – догадалась Клава расцветить обязательную фразу.

– Вот, молодичка, вот умничка.

Она обливала Клаву шампунем, промывала водой – и ласкала, ласкала непрерывно всеми пальцами, которые словно бы жили отдельной и очень резвой жизнью.

– Хвасталась, что большая, а совсем девочка. Ты и не чувствуешь здесь ничего? Ну, рассказывай! – снова хлестнула по щеке.

Клава припомнила честно:

– Похоже, как когда папуся порол, но не так, – Клава польстила доброй хозяйке.

– Ах он старый садист! Так он такую круглую попку порол?

– Ага, – с удовольствием нажаловалась Клава. – И мамусенька помогала.

– Вдвоем? А потом?

– А потом папуся драл ее как следует.

– А чем же порол твой старый папуся чертов?

– Ремнем. Но пряжкой не бил, только кожей, – добавила она для справедливости.

– Ух ты какая: целочка, да не девочка. Ну-ка пошли.

Она обтерла Клаву старательно, но как-то торопливо.

– Ну пошли спаиньки. А ты в Спящую красавицу никогда не играла?

– А как это?

– Когда ты спишь и ничего не слышишь. А чего-то с тобой делают, делают... – затянула Наташа мечтательно.

– Не-а.

– Ну, значит, спи. Выпей вот.

Наташа принесла в чашке вроде чая.

Только горького и холодного.

Клава и так хотела спать. А тут и совсем заснула. На такой кровати, на какой и рядом не лежала никогда.

И только едва слышала сквозь сон возню Наташи на себе. Далекую и приятную.

Или кровать такая хорошая?

4

Утром Наташа была сердита, но не дралась и даже не ругалась.

– Ну? Продрыхлась? Надевай вот вместо твоих половых тряпок. В переносном смысле – половых: которыми на кухне полы моют.

Клава робко надела настоящее шелковое белье. Да и шелка на него ушло меньше чем с носовой платочек – больше кружев.

– Вот так, теперь что-то. Сейчас есть будем.

Наташа разгуливала по квартире совсем голая.

– Ну иди. Где кухня, еще не разглядела? Постой. Ну-ка, сними снова.

Клава с сожалением сняла обновки, думая, что их у нее отнимают.

– Не умеешь раздеваться. Надо, ну я не знаю, с оттяжкой. Будто каждым этим кружавчиком подарок делаешь. И одеваться – словно не хочется, да строгая мама заставляет. Давай-ка снова.

Клава старалась понимать и выполнять приказы, чтобы остаться здесь. Чтобы не прогнала Наташа обратно домой – к папусе с мамусенькой. Да мамусенька и убьет теперь.

– Ничего. Надо чтобы с тобой Шурачок поработал. Поставил тебе личный стрип. Он педик, так что твой весенний пейзаж ему до лампочки, но на постановки – талант!.. Ладно, жрать пошли. Кушать пора маленькой девочке.

И поели тоже так, как Клаве не приходилось ни разу. Всё больше лососиной и французскими сырами с прозеленью.

– Ладно. Дело пора делать, – поднялась Наташа. Сиди здесь, никому не открывай, телефон не снимай. Скоро приду. Да плетку хорошую бы не забыть – не одному твоему папочке твоя попочка резиновая понравится, – не то пригрозила, не то пообещала.

Но Клава не испугалась и хорошей плетки. Чтобы остаться здесь, она готова была отрабатывать терпеливой попкой – тем более, после папусиного солдатского ремня. Ночь только провела она в этой комнате с лаковым полом и шелковыми занавесками, провела на огромной кровати, крашенной белой эмалью, пролежала, проспала под атласным одеялом – и перенеслась в другую жизнь, из которой не хотелось обратно туда, где уткнул ее снова лицом в вонючий заляпанный матрац.

Может, Бог и помог ей наконец? Чего Ему стоит? За столько-то поклонов и свечек даже и не дорого Ему встало.

А что здесь точно так же нужна она людям только своей чувствительной писенькой да полосованной попкой – так это настоящее устройство жизни и есть. Везде одинаковое, а когда в школе заставляют учить другое, так это одно вранье. Потому Клаве и неинтересно. И когда собираются у кого-нибудь дома классом или компанией, тоже начинают щупаться, и самые недотроги вроде Светки Озерановой строят из себя, чтобы набить цену, а потом тоже к мальчишкам на колени садятся и хихикают для подъема интереса.

И взрослые прячутся, а делают так же. Мальчишки рассказывают, что физичка Виолетта, которая держится как барыня и брезгливо рассыпает двойки таким как Клава, десятиклассникам даёт, которые уже под метр девяносто вымахивают. «Экспериментальной физикой» занимаются. Клаве и проверять не надо, она раньше чем себя, папусю с мамусенькой в двухъярусных позах помнит. Все взрослые только этого и ждут целый день.

И единственный вопрос в жизни: на какие простыни тебя положат, в какой ванне подмоют. И куда приятнее снимать скользящие нежные трусики, чем ту дерюгу, которую Клава носила до сего дня, а в этой квартире ее старым трико зазорно даже пол вымыть.

Зазвонил телефон, Клава посмотрела испуганно, боясь что за звонком появятся грубые люди, которым наплевать на нее, которые выкинут ее из этой волшебной квартиры. Наташа

– та не выкинет, Наташе уже понравилось ее ласкать, надо только терпеть и исполнять всё, что Наташа захочет.

Наташа наконец пришла. И не одна. С нею явился мужик молодой, но жирный. Чем-то похож на Павлика, только глаза осмысленнее. И разговаривал по-людски, а не мычал.

– Вот она, – небрежно ткнула пальцем Наташа. – Не дикая роза, а дикий бутон. Но ничего, старается.

– Ну покажи ее, – высоким голосом пропел жирный.

– Давай, покажись перед Шурачком, – приказала Наташа.

И сделала рукой – как круг очертила.

Клава поняла, встала на середину комнаты и стала старательно раздеваться. Вспоминая утренние уроки.

– Да, матерьяльчик есть, – снисходительно одобрил Шурачок. – При ее габаритах мы ей поставим лежащий стрип. Лежа-то трудней раздеваться, ерзать по простыне приходится. На ерзе, и поставим. Ну-ка давай.

Клава старалась. Ерзать по шелковой простыне было легко.

– Ага. Вот. И последний штрих: резко выходишь на мостик и за секунду эту успеваешь трусы провести до самых пяток. Вот, ну-ка: ножки широко, резко на мостик – р-раз вниз всю это трихамудию – и раскрываешься вся навстречу страсти. И сразу опала. На миг раскрылась и опала, закрылась, а то не стрип, а гимнастика получится.

Светка Озеранова хвасталась, что она в балетную студию ходит и про тренировки рассказывала – репетиции. И сейчас с Клавой случилась словно бы балетная репетиция.

После четвертого раза ее придиричивый режиссер махнул рукой и пропел почти женским голосом:

– Сойдет для начала. Я свою мизансцену отработал, теперь ты, Наташенька, покажи. Знаешь же, что я твой ценитель навек и даже дольше.

– Только-то, что ценитель, – проворчала Наташа.

– А так и хорошо. Без пота и пятен.

Наташа разделась, без всяких ужимок, словно в бане. Приказала:

– Вертись.

Клава покорно уткнулась лицом в простыни.

– И будто спишь.

Наташа уселась сверху-сзади к ней на бедра, но стало совсем не тяжело, только глубже утонула в податливую постель.

– Некоторым бы только исполосовать такую статуэточку. У нее уже есть прорисовка небольшая. Видишь, папочка по ней ремнем рисует, садист старый. Тут тоже такие приходят. Я замечала: больше тянет, у кого животы поджаристые. Видно, злость застаивается, если слишком талию перетянуть. А по мне бы, сплошной стих: «Шепот, легкое касанье...» Вертись!

Она резко перевернула Клаву на спину и прежним голосом – для Шурачка:

– Или разрисовать всю?

– А сейчас уже целое такое течение – бодиарт: по живому холсту работают. Не женщина – картина. Я даже на выставке был. Три дня работают, три дня выставляют. Жалко, потом смывать приходится. Шедевры гибнут. Работа долгая, а искусство не вечно. Но все равно – котируются ребята.

– Да, вот так – штрихами, штрихами.

Клава потянулась. Не совсем выгнулась, как учил Шурачок, да и бедра у нее под Наташей стреножены, но потянулась вся, выпятилась животом. Прочувствовала позвоночник.

– Творчески подходит, – засмеялся Шурачок. – Талант в ней на эксгибишэн.

И Клава поняла, что надо изгибаться и дальше.

Наташа стиснула ее снаружи бедрами – и выгнулась сама. Клава увидела только гору живота перед собой, подглядев сквозь ресницы. И почувствовала затылок Наташи на кончиках своих пальцев. Ножных своих маленьких пальчиков.

Получалось, что выгибаться – такое же женское дело, как раздеваться. В рифму сложилось, как у паpusика.

– Утешила, Наташенька, – заворковал Шурачок. – Никакой балет не сравнить.

Наташа распрямилась, как всадница, засмеялась:

– Вот так бы и жить, если бы мне папа с мамой наследство оставили. А так приходится самой в жизни крутиться. Для себя одной такую статуэточку не спрячешь.

– Так она и правду сохраненная? – удивился Шурачок – При таком таланте? С другим режиссером она и на сцену подойдет. Да у тебя здесь тоже – камерный театр. У кого это пьеса была – «Таланты и невинности»?

– Хочешь проверить?

– Нет-нет, я ценю в таком постель-балете общие планы, без подробностей. Подробностей для мясников.

– С мясниками подождем. Осетрины старые тоже таких ценят. Мяснику она на один раз, а осетрины старые ее у меня хоть год облизывать будут.

Они говорили при Клаве как при кошке, не понимающей человеческой речи.

– Я бы и на них посмотрел когда-нибудь.

– Это как захотят. Некоторые и любят даже. Вот ведь и я не против перед тобой попрыгать. А другие – никак!

– А я в шелку.

– Договоримся.

Наташа с Шурачком вышли. Клава не знала, что ей делать: вставать или лежать. Вставать, вроде, и смысла не было. А постель ласковая. И Наташа, выходит, зря покупной плеткой пугала.

Все-таки помог ей Бог, теперь уже совсем ясно. И ночь в такой постели вместо вонючего дивана, и днем постель-балет, вместо школьной тоски! Лафа.

Вернулась Наташа.

– Спать собралась, молодая и талантливая? Давай, пожрем сейчас. А потом и отработашь. Даром здесь тебя никто кормить не будет!

Пообедали не хуже, чем позавтракали. А отработки Клава не боялась. Не думала даже за едой.

5

К вечеру пришла толстая тетища разодетая. Платье на животе натянуто – даже страшно.

– Вот и осетрина на тебя, – шепнула Наташа. – Или белуга целая. Всё сделаешь, как скажет. Чего не умеешь – догадаешься. Ты ведь у нас – талант. Сам Шурачок признал.

И исчезла.

– Ну что, девонька, как зовешься? – вытягивая губы засюсюкала осетрина.

– Клава я.

Клава постарался улыбнуться, хотя тетища ей не нравилась.

– Ты крашенная – или так?

– Как это?

– Волоски свои перекисью травила?

– Я всегда такая. Как родилась.

– Как из мамки – и прямо сюда, ко мне. Ну молодец, Клавусенька, иди сюда. А ты меня Пупочкой зови. Ну?

– Пупочка ты, – с трудом проговорила Клава.

– Вот так. Еще и понежнее постараемся, да?

– Пупочка, – пропела Клава.

– Ну и помоги мне, Клавусенька, расстегнуться.

Клава принялась раздевать толстуху, со страхом гадая, чего та для себя придумает. Лучше пусть просто выпорот. Дело привычное.

Обнаружилась грудь величиной с двойное коровье вымя. Громадные розовые трусы подошли бы и на слонику. Очень не хотелось их стаскивать с Пупочки этой страхолюдной.

– Ну и трюсики помоги, – пропищала Пупочка.

Пришлось стаскивать и слоновьи трусы. От резинки на животе остался след, будто от тракторной гусеницы.

– А Клавуся что же? Клавуся разве стесняется?

Клава легла, припоминая режиссуру Шурочка, и принялась стаскивать с себя тряпки, ерзая спиной по простыне.

– Ой сосочки... Ой пупочек... – причитала Пупочка.

Клава выбросилась тазом вверх, изгибаясь на мостик, и сорвала последнее прикрытие – туда, вниз, в пятки.

На секунду, забыв, на кого работает, она даже испытала удовлетворение от удавшегося па.

– Ой, писенька, – простонала Пупочка.

И впилась в названный объект губами. Пробилась глубже толстым языком.

Ну, если так – еще ничего. Лишь бы не ответные позы.

– А теперь покажи, – отдышалась толстуха. – Наташенька хвастала, у тебя еще бутончик целый.

Клава продемонстрировала толстухе и эту гордость своей хозяйки. Сама она еще не научилась гордиться собственной нетронутой перепонкой.

Толстуха проскользнула пальцем благоговейно.

– Береги, Клавуся, береги. Сбережешь, буду еще приходить и подарочки тебе оставлять. А теперь перевернись, посвети попочкой.

Клава исправно перевернулась.

– Ой, кто же это так нас посек? Таковую попочку нежную?

Вот так же и под душем стыдно показаться после физкультуры.

– Папка порол, – сказала Клава.

– Какой грубый папка. Да как же можно такую нежную попку так испорочь. Ну немножко, ну нежно постегать такую чудную подушечку двойную. Любя.

С каждым словом Пупочка гладила возжеленную двойную подушечку. Гладила всё сильнее, настырнее.

– За что же папка порол эту попку?! Ну, отвечай! С мальчишками, небось, щупалась?!

Клава догадалась, что мальчишек вмешивать не надо.

– Двойки принесла.

– Двойки – пускай. Лишь бы в подоле не принести. А то двойки. С таким папкой жить нельзя, который за двойки подушечку распорол!

– Я от него убежала, – почти правду сказала Клава.

– И правильно. Будешь теперь у Наташи жить? Вот и хорошо. А Пупочка еще придти будет. Вылечится попка, можно будет и постегать немножко. Чтобы дурацких мальчишек из головы выгнать.

– Можно и сейчас несильно, – щедро разрешила Клава. – Если Пупочке хочется.

Клава надеялась, что толстуха такой ценой от нее и отстанет.

Ах, Клавусенька, щедрая душа. Хочешь Пупочке своей приятно сделать. Но не надо. Я к этому – так. Иногда если. Лучше Клавуся теперь сама Пупочку приласкает. Язычком своим нежным, да?

И толстуха предоставила свой плацдарм.

Клава же знала, что отказывать нельзя ни в чем. И исполнила старательно. Исполняла – но результат никак не достигался.

– Ну еще! Ну еще же! – уже не сюсюкала, а грозила толстуха.

Язык заболел от напряжения, и Клава тоскливо мечтала об одном: «Да кончи ты скорей, старая свинья!» Но толстуха только ахала слегка и сильнее вжимала в себя Клаву. Приспособилась к тому ж схватить Клаву за уши, и не сдвинуться было, и не передохнуть. Как тут Павлика добром не вспомнить. И папусину порку невинную.

Язык устал и почти не двигался. Клава отчаялась, что толстуха не кончит никогда.

– Не могу, устала, – бормотала она, но бормотание ее не выходило из замкнутого пространства.

Пупочка ритмично дергала ее за уши – всё злее и злее.

Клаве думала, она так и задохнется в жарких влажных джунглях. Жесткие как проводочки волосы лезли в рот. Ме-ерзко! И страшно. На миг Клаве показалось, Пупочка втянет ее в себя – как удав.

Спасаясь, Клава закричала – и впилась зубами в какую-то жирную складку.

– О-ох!.. А-а!.. Клавдия, дорога-га-га, – вдруг зарычала толстуха басом.

Свинья задергалась, наконец. Зарезать бы и тушу опалить.

Кончились мучения.

Вырвалась из п...ды на воздух.

– Ай, Клавушка, ай страстная Клавуся моя, – ворковала толстуха. – Еще приду... Подарочки тебе... Пленочку свою береги... Ну-ка повернись еще... Розочку покажи... А скажи, Клавуся, ты пенки с молочка любишь?

– Не люблю, – искренне передернулась Клава. – Пенки – брр!

– А зря. Я люблю пеночки. У тебя здесь как пеночка на молоке. Самая нежная. Сейчас пеночку слизну. Смотри, береги, чтобы кто с тебя пеночку не снял. Девочка молочная. У меня дочка такая. Нежненькая. Не для того ращу, чтобы мудак с елдаком к ней влез! Ну давай, я тебя одену, куколка моя. Дочку я тоже одеваю. Василису.

Пупочка надела на Клаву белье, и Клава подумала, что отработала сполна авансом полученный гарнитур. Потом толстуха натянула и свои слоновые штаны.

И вывела наконец на кухню, где Наташа в одиночестве смотрела телевизор.

– Хорошая девочка, – сообщила толстуха, не дожидаясь вопросов. – По всей программе оправдала.

– Ну так прекрасненько, – равнодушно кивнула Наташа.

– До свиданьица, – толстуха пощекотала Клаву под подбородком. – Жди свою Пупочку. И выплыла. Наташа за ней.

Клава присела к столу. Налила фанту из стоящей бутылки. Хватила залпом, как иногда папусик стакан белой – не для правомерного принятия, а от настроения.

Полегчало.

Значит, не важно, что пить – важно залпом.

Ничего, пережила. Зато Пупочка подарки обещала. Может, уже оставила чего.

Вернулась Наташа. Веселая.

– Ну и молодец. Такую осетрину ублажила. Белугу. Талант – везде талант. Под любой клиентурой. Поесть хочешь?

– Ага.

– Сейчас. Устала, девочка?

– Ага, – подтвердила Клава охотно, довольная, что ей сочувствует хозяйка.

И получила неожиданную пощечину.

– Чтобы слово это забыла, поняла? Устала она! Ты под хороший трамвай попади! Колымский, настоящий! Бригаду бендюжников через себя пропусти, тогда устанешь! Тут у меня ласки-сказки, поняла? Курорт бесплатный! Ну как, силы есть?

– Есть.

– Устала?

– Нисколечки!

– Вот так чтобы всегда. Еще одна будет гостя к тебе. Только не осетрина. Скорее, стерлядь, – усмехнулась Наташа.

О подарках, будто бы оставленных Пупочкой, Клава спросить не решилась.

6

Стерлядь пришла совсем вечером.

– Вот Клавочка у нас, – объявила Наташа. – Хорошая девочка. Гостье рада.

– А меня зови Зоей.

Тошная, черная, худая – она похожа была на торговку южной зеленью. Клава с мамусенькой часто ходят к закрытию рынка, когда можно выторговать порченный товар по дешевке. Но у сухих баб выторговывать трудно. Лучше у мужиков. Масляных.

Только глаз таких даже у жадных торговков не встретишь: иссиних и словно бы застывших – проникающих.

– Добрый вечер, – старательно улыбнулась Клава.

– Хорошая девочка. Гарная.

Она говорила совсем по-русски, не как узбечка с рынка. Но не по-нашему, а по-южному: с «Хы» вместо «Гы».

– Ну и дружитесь вдвоем, – пожелала Наташа в дверях.

Клава подумала, что с этой будет все-таки легче: не придушит складками с живота.

Зоя села в белое глубокое кресло, не на кровать. Хлопнула себя по колену.

– Сядь сюда.

Клава поспешно вспрыгнула на указанный насест.

– Давно здесь бедуешь, Клавка?

– Давно. С вечера.

– Да-авно, – засмеялась Зоя.

Клава повторила с ее интонацией:

– Да-авно, да! – и тоже засмеялась.

И сразу стало с Зоей хорошо. Лучше даже чем с Наташей. Не злая Зоя – только напрасно показалось.

– Чего робишь тут?

Даже Клава расслышала, что Зоя так говорит нарочно по-южному. «Робишь». Для веселья.

– Отдыхаю. Сплю вот, – кивнула на кровать.

Шутить – так вместе.

– Одна?

– Не-а.

– С мужиками?

– Не!

– С бабами, значит?

– Ага.

– Греха не боишься?

Так же легко и быстро спросила – но все-таки иначе. Со значением.

– Не. Где ж тут грех?

– А не обнимали разве? А не раздевали?

– Так с бабами раздеваться, какой грех? Как в баню сходить, – отхитрилась Клава, хотя понимала, что совсем не как в баню.

– Ой, врешь! А с девочками-врушами я, знаешь, что делаю?

Клава промолчала.

– Так что с врушами делать, а? Ну, говори сама!

– Пороть надо, – подыграла Клава, понимая, что порки все равно не избежать.

Так уж коли пороться, лучше весело.

- Вот теперь правду говоришь. Так что, пора ты выпороть?
- Пора, – наигранно вздохнула Клава, расстегивая молнию на джинсиках.
- Ну иди, ляжь. Только помолись сперва.
- А как? – удивилась уже искренне.
- А ты молиться не умеешь? В церковь ходила с маткой?
- Ходила.
- Молилась?
- Молилась.
- А порола тебя матка за лень и избежание?
- Порола, – кивнула Клава, хотя и не поняла, за какое «избежание». – Только больше

папка.

- А молилась перед тем?

– Не-а.

– А чего тогда толку? Даже жалко. Хорошая мука, а пропала зря. Порку надо со смирением принимать, с молитвою. Это твое малое искупление детское. Сама должна к мамке подходить, ремешок принести и ручку поцеловать. Сказать: «Мамочка, грешна я, поучи любя». И помолиться перед ремнем: «Госпожа Божа, суди меня строже, за малый грешок, секи поперек, боль стерплю, на радость улечю». Поняла?

Клаве показалось, Зоя как-то странно произносила обычное «Господи-Боже», но не посмела переспросить.

- Поняла.

- Ну и повторяй за мной.

Клава даже понравилась молитва. Терпение ее получало какой-то смысл.

Молитву прочитали хором. На последней строке Клава повысила голосок, перекричала

Зоя:

- «Боль стерплю, на радость улечю!»

- Вот так. Теперь и пострадать в радость.

Клава разом спустила все штанишки – и наружные джинсы, и внутренние кружавчики.

И уже спущенная пошагала к кровати.

- Ну гляжу, гляжу: смирение в тебе есть. А ты правда девочка непочатая?

- Правда.

- А если врешь?

- Ей-богу!

- Смотри. Если соврала, никакой мукой не отмолишь. Дай-ка проверю.

Клава уже привычно приняла проверяющий палец.

– Правда. Хорошо, девочка. Раз уж помолились, надо тебя постегать легонько, чтобы не обманывать Госпожу.

И Зоя ударила несколько раз плеткой несильно – понарошку почти. От такой доброй женщины Клава готова была терпеть и втрое.

– Хорошая девочка, и Госпожа Божа тебе помочь хочет. А ты хочешь, чтобы тебе сама Божа помогла?

- Хочу, – сказала Клава совсем искренне.

- И не испугаешься?

- Не.

- И терпеть будешь всё?

- Да.

- И слушать по слову?

- Да!

Вопросы нарастали – по голосу и скорости. И ответы звучали всё восторженнее.

– Слова против не скажешь?

– Не.

– Неверным не поддашься?!

– Не!

– Отца-мать забудешь?!

– Да!

– Кроме Госпожи Божии никого не полюбишь?!

– Не!

Зоя погладила по голой попке. И снова заговорила обыкновенно:

– Вот и хорошо. Оставлять тебя здесь нельзя. Будешь теперь с новой семьей жить.

Одевайся пока.

Клава снова натянула всё свое. Белье с кружавчиками, правда, было чужое, но она его вдвое отработала. Ведь противная Пупочка подарки за нее Наташе оставила, а та и не показала.

– Уйдем тихо, поняла?

Клава уже любила новую свою хозяйку Зою и не жалела бросить Наташу.

Они вышли в коридор. Из кухни доносился телевизор, заглушая их шаги.

Выходная дверь облеплена была изнутри несколькими замками, но Зоя с легкостью сыграла на замках, как на струнах гитары.

Дверь со щелчком открылась и выпустила беглянок.

Клава немножко боялась погони, но Зоя держала ее за руку – и отвечала за всё.

На улице не ждала Зою классная машина. Жалко.

Но Зоя уверенно остановила такси.

7

Приехали они куда-то на окраину. Клава не понимала, куда. Городские многоэтажки стояли между деревьев – словно в разреженном лесу.

Но машина остановилась на пустыре у чужого в городе досчатого забора – выше самого высокого роста. Зоя отперла ключом калитку, приоткрыла слегка, и они вдвоем протиснулись внутрь. И калитка снова заперлась за спиной.

На участке виден был двухэтажный дом с темными окнами, а больше ничего не разглядеть.

– Пришла ты в корабль наш спасательный, – шепотом, но торжественно возгласила властная проводница.

Только подойдя вплотную, Клава разобрала, что дом весь деревянный, бревенчатый. Дверь тоже была заперта. Зоя отперла,пустила Клаву и заперла за спиной.

– Ступеньки тут, – шепнула Зоя попросту, не так, как про «корабль спасательный», но свет не включила.

Нащупывая ногой, Клава стала подниматься по крутым ступенькам.

Старый этот барак не обещал блеска и кафеля Наташиной квартиры, и Клава жалела уже, что убежала.

Ступеньки кончились, и Зоя повела ее в темноте по скрипучему полу.

Дверь вдруг открылась, и Зоина рука толкнула Клаву в сияние – и удержала на пороге.

Комната или большая зала вся была увешана иконами, так что не видно стен. Перед каждой иконой горела лампада, огоньки лампад отражались в золоте и серебре красок, отчего казалось, что светится сам воздух внутри золотой залы. И даже потолок был расписан светло как небо, и тоже отражал свет. Или излучал.

Икон-то столько, что больше и невозможно, но показалось, что они какие-то не такие.

Приглядевшись, Клава уверилась, что точно – не такие.

Она бывала с мамусенькой в церкви много раз в соборе у Спаса Преображения, и все святые пугали и притягивали ее своей строгостью. Друг от друга она их не различала – все лики бородатые, со впалыми щеками, а нимбы золотые как соломенные шляпы. И только Богородица без бороды – но тоже темная и иссохшая.

А здешние лики на иконах – все безбородые! Пригляделась ближе – женские все! Богородиц, значит, столько?!

Но и сверху, откуда в соборе смотрит Спас – самый главный Бог, и самый бородатый тоже – сверху с расписного неба смотрел огромный женский лик.

А нимбы у святых женщин были радужные – переливались синие, зеленые, розовые краски – и только по краю переходили в желтое и золотое.

Пол был устлан ковриками или одеялами, как чтобы сидеть или лежать – чего в соборе никак невозможно делать.

– Вот и пришли, – шепнула Зоя. – В Сердце Мира! Туфли сними.

Клава сняла не только кроссовки, но и носочки и босиком прошла на середину.

Тихо. Только пол поскрипывал под ковриками и одеялами. И глаза святых жен смотрели со всех сторон. Такие же иссиние и проникающие насквозь и глубже, как у Зои. Даже еще глубже проникающие – от множества их.

Клаве сделалось страшно и сладко. Похожее чувство было, когда вчера Наташа что-то делала с нею сквозь полусон. Но Клава понимала, что то, вчерашнее – другое, греховное. Святые жены смотрели в глаза и в затылок, в грудь и в спину – и узнавали про Клаву всё.

– Крестить тебя буду сразу, – уже не шепотом, но каким-то странным сухим бестелесным голосом сказала Зоя. – Все под Божей, вдруг умрешь ночью, так чтобы успеть в Святое Царствие.

– А я крещеная, – испугалась ошибки Клава, путаницы в высших божественных сферах. – Три года назад у Спаса Преображения.

– То – соблазн и заблуждение сатанинское. А ты избрана, ты достойна истинное крещение принять. Сейчас. Чистыми надо перед Госпожой Божей предстать.

Зоя разделась быстро, Клава только успела заметить худую ее фигуру, натянутую кожу на впалом животе, над которым нависала большая, словно от другой женщины грудь, да светлый лобок без обычного треугольника волос. У Клавы у самой волосы на этом месте пока не выросли, и мальчишки, если залезали рукой, смеялись, говорили, что не оперилась еще она, потому что некоторые девчонки в классе уже оперились, и гордились этим в спортивной раздевалке. Клаве хотелось скорей опериться, но теперь она с гордостью увидела, что и сама Зоя такая же – неоперенная!

Но Зоя сразу же накинула серебряный плащ до пят, по краю которого нашиты были звезды – многоконечные с извивающимися лучами, как морские звезды в кино у Кусто. В плаще она сделалась совсем высокая и недоступная, как те жены, которые смотрели со стен.

– Убери с себя это всё, – брезгливо притронулась она к рукаву Клавиного свитерка.

Клава как могла быстро разделась, чтобы не оскорблять промедлением заждавшихся святых.

Зоя подвела ее к стене, на которой был синей краской нарисован крест высотой в рост среднего человека.

– Распинайся.

Восторг и ужас потек по спине, Клаве захотелось выгнуться – она уже недавно выгибалась где-то, только не хотелось вспоминать – где. Восторг и ужас, потому что распинаться – самая главная привилегия, которой не удостоиваются даже святые на иконах, а только сам Христос.

Клава чуть было не переспросила: «А мне можно?!», но поняла, что приказы не переспрашивают.

На кресте нашлись ременные петли для рук и для ног,двигающиеся в специальных прорезях. Ногами Клава попала легко, а руки пришлось поднять выше ушей, чтобы вдеться как подобает. Зоя затянула петли, и теперь Клава была растянута и могла только поворачивать головой. Она не принадлежала себе – только Зое и этим святым, сияющим со стен.

Зоя принесла граненый флакон, сверкнувший густым синим цветом от огоньков ближних лампад. Макнула кисточку и помазала Клаве губы, возгласив негромко, но очень веско:

– Вокрещается истинным крестом раба Калерия – во имя Мати, Дочи и Святой Души. На губах остался сладковатый вкус – но и щиплющий.

Клава не поняла, почему – Калерия, но не решилась переспросить или возразить.

Точно так же помазала Зоя каждый сосок, и проникла мягкой кисточкой в межножие, в самую глубь, которую Клава даже мысленно не решилась назвать обычным словом ради святости места.

– Теперь повтори ты: «Почитаю Мати, Дочу и Святую Душу ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Клава радостно повторила новые слова.

Внизу в самом нежном месте начало немножко пощипывать.

– А теперь внимай. Мужчины от самого начала Мира подменили Госпожу нашу Божу. Творит – Женщина, рожает и кормит. И пока не настанет справедливость, не воцарится истинная Госпожа Божа, которая суть купно и Мати, и Дочи, и Святая Душа, не будет на Земли ни справедливости, ни счастья, ни мира. Мы избранные – познавшие Истину, мы вер-

ные – составили нерушимое Сестричество. Мы слабые, но свободные, мы составили нерушимое Слабодное Сестричество, мы спасемся, когда мир рухнет, мы неопалимы, когда мир горит. Рассыплется в прах царство лжи, и воцарится во славе и власти Мати, Доча и Святая Душа!

Клава всегда догадывалась о чем-то таком, только не понимала. Ну почему мужики? И батюшки все в соборе? Да и Богородица, когда родила сама по себе, показала, что муж может быть совсем лишним. А женщина лишней не бывает. Даже Христос без матери не обошелся. И сама Клава – столько лет просила того Бога в соборе, и понапрасну. И только вчера почувствовала небесную милость – но потому только, теперь совершенно ясно, что уже приближалась к ней Госпожа Божа.

Внизу жгло пожаром. Загорелись купно и соски, и губы, но горение плоти лишь возбуждало восторг, соответствуя горению души. Она, маленькая Клава, причислена к Верным и Избранным, куда не попасть никогда ни мамусеньке с папусей, ни идиоту Павлику и матери его, ни даже Наташе в ее кафельной квартире! Истина – здесь. И спасение – здесь.

– Вняла?

– Вняла, Зочка, милая, родная! – восторженно кивнула Клава.

– Зови меня Свами. Сладкая Свами. Вняла, раба Госпожи нашей Божии Калерия ново-крещенная?

– Вняла, сладкая Свами.

– Жжет? – Свами коснулась пальцем самого пожарного места.

– Пускай. Хорошо. За грехи, – догадалась Клава о своем несовершенстве перед Мати, Дочей и Святой Душой.

– Стерпишь?

– Стерплю, сладкая Свами.

– Тогда терпи. Стерпишь – станешь весталкой девственной.

Чистым и холодным повеяло от непонятного слова. И кажется, Клава готова была усестись на открытый огонь, чтобы стать чистой и просветленной – весталкой. Весталочкой действенной.

– Стану, – прошептала Клава. – Действенной.

– Я помолюсь рядом молча. Буду бдеть с тобой. Станет невтерпеж – позови.

Клава преисполнилась любви и благодарности. Ведь могла бы Свами совсем уйти, оставить ее здесь одну – распятую и объятую пожаром.

8

Сверху смотрела сама Мати, как догадалась Клава. Госпожа Божа. И пред ликом Ея ничтожная раба Клава или Калерия должна стерпеть, даже если ее клещами разорвут!

Огни лампад сливались в единый Огонь, жгущий ее. Потому что только Огонь мог очистить Клаву от скверны прежней жизни.

Руки ее устали висеть в петлях и ноги ослабевали. Временами боль в руках отодвигала пожар вниз, потом пожар снова отнимал чувствительность от рук.

В светящемся воздухе начали носиться какие-то блески, шары. Носились беспорядочно, потом стали собираться вокруг Клавы.

И не шары уже, а женские светлые лики.

«Калеру любим. Калера наша».

Собравшись вместе, они образовали невесомую пену, и Клава понеслась в этой пене куда-то ввысь, ввысь...

И вот уже она идет по серебряному лугу и собирает золотые цветы. Не голая она и не одетая, а прикрывает ее сияние. Или облако.

А навстречу высокая красивая женщина, закутанная в более пышное сияние. Немного похожая на сладкую Свами, только светлее.

– Ты кто, девочка? – склоняется Она.

– Клава. Калера.

– Хорошо. Ты любишь Меня?

– Да. Очень. Больше всех!

– Хорошая девочка. Ты знаешь, кто Я?

– Да. Нет. Богородица.

– Я – Мати. А кто не знает, зовет Меня Богородицей. Ты Меня любишь?

– Да. Очень-очень. Больше всех.

– А что ты можешь стерпеть ради Меня?

– Всё.

Ужасная боль снизу сразу протыкает вверх живот и голову. Но Клава не плачет.

– Вижу, что можешь.

И боль улетает.

– За это возьму тебя к Себе.

Мати растворяется, оставляя после себя свет и легкость, легкость и свет, каких Клава никогда в жизни не испытывала. Она летела над миром в восхитительном полете.

И наткнулась на боль, как на огромную иглу.

Вернулась.

И снова лампы, лики, Свами в серебряном плаще.

Клава чуть было не закричала, но вспомнила, что нужно перетерпеть, и тогда станет она чистой и прохладной весталочкой, чтобы бегать по утренней росе.

Огни и шары слетелись и помогли ей взмыть обратно в небо. Она теперь купалась в облаке, как в море из взбитых сливок. Качалась на облачных волнах.

Качали ее облака и баюкали – пока не насадили снова на ту же иглу.

Клава открыла глаза – и увидела вплотную перед собой Свами. Похожую на Госпожу Мати с небесных полей, только немножко темнее и грубее.

Глаза ее смотрели в самые тайные мысли – и не могло оставаться мыслей, противных этому взгляду, этому великому знанию про Мати, Дочу и Святую Душу.

– Стерпела?

– Могу еще, – прошептала Клава, хотя жжение, вновь возникнув, разом сделалось нестерпимым.

– Что видела?

– Облака. Небо. Госпожу Мати.

– Молодица. На кого Мати похожа?

– На тебя, сладкая Свами.

– Молодица, молодница. Ну стерпела испытание, может к тебе семья теперь прийти.

Клава испугалась, что войдут паpusик с мамусенькой, но если Свами их позвала – значит так и надо. Даже если кажется, что не надо.

Свами распахнула дверь и стала звонить в колокольчик, откуда-то оказавшийся в ее руке.

Послышался топот и в комнату с иконами вбежали несколько девочек и женщин – в серебряных плащах, только без звезд по подолу, какие сверкали у сладкой Свами. Некоторые девочки еще и украшены были веночками такими же серебряными – и похожи были на луговые ромашки – только резвые.

Следом, неловко теснясь, вошло и несколько мальчиков и мужчин в балахонах обыкновенно белых – и видно, что грубых.

Вбегая, все щебетали, говорили, басили наперебой:

– Люблю тебя, сладкая Свами... Люблю... Люблю...

– Люблю вас, сестры и братья. Люблю на радости утренней. Вот, наша новая весталка Калерия, – ясным голосом сказала Свами. – Приняла полное окрещение и большую истому. Валерик и Сашенька, снимите сестру.

И сама Свами широким движением бросила поверх лоскутных подстилок серебристый плащ.

– Радуюсь и повинуюсь, сладкая Свами.

– Радуюсь и повинуюсь, – хором.

Двое мужчин, мальчики совсем, ровесники, наверное, ослабили петли, вынули руки и ноги Клавы и она тотчас повисла на их руках. Они осторожно уложили ее на серебряный плащ, расстеленный для нее самой Свами.

Клаве было хорошо и совсем не стыдно перед мужиками.

– Хорошо. Ты, Валерик, можешь сестрице братское целование дать.

Валерик покраснел – Клава заметила! – опустился на колени и поцеловал в губы, в соски и в то самое место, которое Клава не знала как называть даже про себя в святой этой зале.

Свами проникательно поняла ее затруднение и, присев рядом на плащ, объяснила:

– Мы слов поганных не знаем, у нас свои, чистые, сестрические. Вот это у тебя, – она дотронулась там, где оставил последний поцелуй Валерик, – жалеяка, жалеинька. А у него, Свами распахнула белый балахон на Валерике, так что обнажился бесстыдно напряженный мальчишеский признак, – ффу, принесите любалку... это у него червь противный. Все мужчины – свиньи, с червем толстым каждый! Тьфу, прости Божа... Ну и другие слова есть. А сейчас Калерочке нашей помочь нужно.

Свами достала белую баночку и стала втирать прохладную мазь в горячие места. Наступили свежесть и блаженство, видимо и обозначаемые легким словом «весталка».

– Как у Калерочки бедная жалеечка распухла, – приговаривала Свами, – крошечный мизинчик не проскочит. Вот так. Теперь всё хорошо. Ну вставай, сестра Калерия.

Клава встала. Свами нагнулась, сама подняла расстеленный плащ и облачила Клаву. Плащ был скользкий, шелковый и зеркальный – отныне все дурные взгляды отразятся от волшебной ткани и не смогут достичь Клавы и повредить ей.

Свами надела на голову ей венок.

– Как хорошо нашей Калерочке пришелся! Серебряный венок на волосы твои цвета солнечного света!

Всегда Клаву называли белобрысой, а училка Виолетта обозвала однажды «альбинос-кой». А вот – цвета солнечного света. Волосики собственные всегда огорчали Клаву ломкостью, не отрастить их было даже до плечей – но если цвета солнечного света, то, наверное, они и длинные и нерушимые сделаются, как солнечные лучи?!

– Завернулась сестра Калерочка, весталка девственная в одежды новые, непорочные, беспуговчатые – и отринула прошлую жизнь в грешном мире как и прежнюю одежду грешную и пуговчатую.

Пуговиц и правда не оказалось на волшебном новом плаще, и можно было запахивать и распахивать его – единым мановением.

– Да, что-то еще надо было, – озаботилась Свами. – Ах да, любалку давайте.

Валерик подал Свами плетку и быстро поцеловал ей руку.

– Ну помолись, – снисходительно сказала Свами.

– Госпожа Божа, суди мя строже, боль претерплю, в радость улечю, – быстро проговорил Валерик.

– Ну вот, Калерочка, он будет твой братик-боровок, делай с ним чего хочешь. А за то, что его мерзкий червь посмел в твою сторону посмотреть, ему полагается отпустить немножко любалок ласковых. Ну-ка ты и приголубь своего подсвиночка!

И вложила плетку в ладошку Клаве.

Клаву много раз пороли. Но сама она – ни разу. Не знала, как это и делается.

Валерик улегся и задрал балахон. Клава стеганула неловко. Еще.

– Жалеешь. Все мы жалостливые. От наших жалеек вся натура такая. Ну можно и погорячей его приголубить – по булочкам его, по сдобненьким.

Свами перехватила плетку и приголубила погорячей.

– Поняла, сестричка маленькая? Кто как любит, тот так и голубит. Горячей надо.

Клаве нетерпеливо захотелось самой приголубить Валерика – погорячей. Она потянулась за этой хвостатой помощницей любви и принялась горячить мальчика. Как будто с каждым разом не стежок оставляла плеткой, а целовала в сдобную булочку. Это и значит, догадалась, быть весталкой действенной.

– Вот – по-нашему, по-семейному, – вскрикивала Свами одобрительно. – Тебе-то сладко, братик, от сестрички своей любалок получать?

– Сладко, – отозвался Валерик.

– Видишь – как. Всем хорошо, всем сладко. Так у нас всегда в семье. Теперь Валерик, боровок твой, будет тебе утром и вечером втирать лечение, а ты смотри каждый раз: если только нацелится червем своим поганым – сразу пусть сам любалки несет. Клади его и погорячи любя... А первой сестрой тебе станет Соня. Она тебе всё покажет в корабле нашем и порядки объяснит.

К Клаве подошла девочка повыше на полголовы в серебряном плаще и в веночке. Черные волосы, на зависть Клаве, спущены были впереди по плечам и достигали едва не колен. Не на зависть – нельзя завидовать здесь в новой сестрической жизни – на радость за сестричку прекрасную!

– Люблю тебя, сестра, я – Соня.

И посмотрела внимательно. Глаза у Сони были чуть-чуть такие же как у Свами: неподвижные и тоже проникающие, хотя и не очень.

– Раскрою тебе приемы сестрические. Проведу повсюду в корабле спасательном.

И поцеловала Клаву в губы. Серьезно поцеловала, пощекотав языком. Клава никогда еще так с девочками не целовалась. Только с мальчишками.

– Ну пошли, покажу тебе всё, – добавила Соня совсем по-школьному.

Только взгляда такого ни у кого в школе нет.

9

Они сбежали, держась за руки, вниз по той же крутой лестнице, по которой так давно ощупью поднималась Клава – в другой жизни, вчера вечером.

Внизу Соня распахнула ближнюю дверь по коридору.

– Вот здесь тебе будет место. Миленко, правда?

Первое, что бросилось в глаза – разложенные прямо на полу впритирку матрасы, застеленные простынями и одеялами. Матрасы занимали половину комнаты. Другая половина представляла собой что-то вроде сеновала. И пахло весело, по-деревенски – сеном.

На двух подоконниках цветы в горшках. К цветам, подумала Клава, и относилось предположение, что в комнате «миленко». Клава-то по первости вспомнила подвал бомжей с общим лежбищем, куда ее затащили однажды с двумя девчонками, так что едва вырвались. Вот только в подвале не было цветов и простыней.

– Вот здесь только весталки живут. Светелка светлая в корабле.

Клава не осмелилась сравнить вслух светелку с лежбищем бомжей, а вместо этого спросила:

– А почему корабль у нас, когда он стоит просто как дом за забором?

– Потому что дом обычный – он в землю врос и сдвинуться не может. И обитатели его земле приговорены. А наш корабль спасательный плывет в царствие Госпожи Божьей. Настанет День предназначенный, и мы приплывем в Спасенное царство. Чего ж тут не понять?

– Я понимаю, – возрадовалась Клава, что попала на столь удачный рейс. – Я понимаю!

– И приплывем все. Тут моя лежанка, и ты значит рядом. Ближе к двери, но так положено, раз новенькая. А на соломе боровки наши. Весталки – самые лучшие сестры, самые правильные, понятно, да? Нетронутые которые. Потому мы с веночками: невинность – она всегда сверкает и от чела сияние. Нам и работать совсем не надо, только учить. Просвещать истину. А слабые сестры, те не сияют от чела вокруг, потому что по слабости они уже трачены мужским червем, хуже чем шерстяные трико прожорливой молью. Они работают, деньги приносят. Ну братцы-боровки – свои у каждой. Они у нас послушные. Вот дверь закрыта, а я и так знаю, твой с моим под дверью ждут, когда позовем. А сами не смеют, ни-ни, такие смешные! Когда учить пойдем по Вавилону, они при нас вместо охраны, потому что люди всякие есть, которые истину не зрят. А так спят в ногах на соломе. Подползти ночью норовят. Да у нас всегда можно – и днем и ночью, если с молитвой. Только чтобы червя своего в жалейку не запустили! Тогда – ужас! Боровка обрежут так, что только дырочка останется, откуда писать, а весталку – засекут! Все по очереди сечь будут, пока не засекут!

Соня посмотрела страшными глазами, и тут же засмеялась.

– Да нам-то что? И так всё можно – без этого. По-моему, даже противно. Братский поцелуй ихний – куда приятнее. И сами с тобой мы ведь друг друга любим, да?

Она обняла Клаву и со смехом повалила на тюфяки, целуя в глаза, в губы, и тут же бормоча: «Госпожа Божья, помилуй мя... Госпожа Божья...»

– И всё свято теперь! Госпоже Боже приятно, оттого что нам хорошо.

Смеясь, Соня целовала, щекоча кончиком языка, когда дверь открылась и вошла еще одна весталка, судя по венку на челе. Такие в школе – десятиклассницы.

– Хорошо любите, – проговорила она словно «добрый день».

– Ира! – вскрикнула Соня. – Ирочка, как хорошо!.. Ира моя первая сестра, учила меня, как я тебя теперь... Ируня, сестринский поцелуй, а?

– Вдвоем обойдетесь, – отстранила Ира.

– Ируня, ты что? Ревнуешь? Ревновать – грех!

– «Госпожа Божа, помилуй мя ... Госпожа Божа...» – тут же поспешно забормотала Ира и, присев, поцеловала в губы и Соню, и Клаву. Но – холодно.

– Ревнуешь, – подтвердила Соня. – Раньше не так целовала.

– Просто устала. Сейчас с двумя сестрами все губы отцеловала.

– Любовь усталости не знает, – отчеканила Соня, словно урок ответила.

– А я недавно устала тоже, – припомнила Клава, чтобы защитить эту новую Иру от слишком правильного ответа Сони, отличницы здешней. – Толстуха одна, осетрина парная, белуга, заставила губами и языком в свою, – запнулась с непривычки, – жалейку лезть. Так я устала в усмерть, пока ее проняло.

– Осетрина толстая? – захохотала Соня. – Ой, не могу. Расскажи еще чего-нибудь. У нас тут секреты держать нельзя. Грех недонесения!

И погрозила пальчиком.

Клава стала рассказывать про соседа Павлика.

– И сказать не мог, чего ему надо, только сопел? – уточняла Соня. – Ну-у, наши боровки лучше. Или нет, – добавила она подумав, – всем одного надо, и говорить вовсе незачем. Сопел – и ладно. Всем одного надо, только в миру это грязь и грех, а мы – любовью очищаемся... Ну, пошли дальше, потом еще полюбим, время есть.

Они вышли в коридор.

Валерик и еще один мальчик в балахоне, Сашенька, который тоже Клаву с креста снимал, и вправду торчали под дверью, а теперь пошли, слегка отстав, за Клавой и Соней.

– Тут в трех комнатах слабые сестры, червем траченные. Слабых много, весталок наперечет.

– А почему весталками мы называемся? – спросила Клава.

– Ну – почему. Потому что. Потому что через нас Госпожа Божа свою весть людям посылает. А мы ходим и зовем к истине. Весть разносим. Кто же мы еще – весталки и есть. И к нам тоже от Божи вести приходят – первым... Тут – облегченная палата.

Соня распахнула дверь. В комнате стояли в два ряда унитаза – шесть или восемь. Уборная просто – только без кафеля. На одном универсальном тазу сидела сестра. Она и головы не повернула.

– Облегченная палата – общая для всех. Только надо смотреть строго, чтобы боровки не пачкали. Они грязнули и струю мимо пускают. Тогда его мордой по полу повозить.

– А как же – вместе? – удивилась Клава.

– Ты что?! Стыдиться – грех! Что Господа Божа устроила – всё к славе Её-Их. Да за такой грех – знаешь?! Ну-ка, сядь быстро и отдай, что накопила. Валерик, Санечка, ну-ка сесть напротив. Вот и облегчитесь дружно. Ничто так не сближает. Готово?

– Бумажку бы, – пробормотала Клава.

– Ты что?! Бумажки эти – грязь! Мусульмане никогда не подтираются, они подмывают себя – и мужики, и женщины. А мы всякое зерно истины в любой вере отыскиваем. Мы как мусульмане – моем себе сразу. Зато всегда чистые, а после бумажки вонючее дупло останется! Вот там кран в углу – стань и вымой себе всё. Все увидят, что у тебя везде чисто, и еще больше тебя полюбят.

Клава сделала, как приказала Соня. Трудно было только начать в первый момент. А пересилила себя, помыла при братиках-боровках, при сестрах все места – и легко даже стало, оттого что одним стыдом и секретом меньше. Словно пласт тяжелый отпал с души.

Вслед за Клавой подошли с полной непринужденностью подмыться и боровки.

– Вот так еще сестрей и братьей стали, – обняла Соня разом и Клаву и Сашеньку. – А теперь и трапезовать пора.

И точно – послышался колокольчик.

Соня привела в ту самую молельню:

– Потому что брюхо норовит нас грешных первой всех от Госпожи Божии отвлечь. Так чтобы и не забывать Её-Их каждую секунду! – продолжала добросовестно наставлять усаживая на подстилку. – И за столами расслаиваться – брюхо тешить. Как молим – так и едим. Сколько намолим – столько и дастся. Но сначала – росы утренней. Тоже благодать нам послана от Её-Их.

Пить-есть хотелось, но любопытство не оставляло:

– Как ты сказала? От Ёх?

– Госпожа Божья наша едина в троичности Мати, Дочи и Святой Души. Поэтому грех сказать Она, грех сказать Они, а нужно на дыхании вместе: Она-Они. Грех сказать Её, грех сказать Их, а надо на одном дыхании: Её-Их.

Хорошо, спросила вовремя! А то бы нагрешила, обидела бы Госпожу Божу неверным словом – Она бы и припомнила. То есть: Она-Они припомнили бы! Да уже и согрешала раньше – надежда только, что Она-Они простят неведения ради.

Горбатый брат разливал в подставляемые стаканы росу из трехлитрового термоса.

Роса пахла какими-то увядшими цветами. Так пахло на похоронах соседа Дмитрия Устиныча, отца Павлика, когда нанесли много венков и букетов. А на вкус холодная и кислотная как тоник без джина. «Прости Божья, за сравнение нечестивое», – охранительно подумала Клава.

– Есть потом – не обязательно, если грешные твои потроха не попросят, а в росе утренней – благословение Госпожи Божии, без росы утренней нельзя.

И Соня оглянулась вокруг – Клаве показалось, сестра проверяла, все ли впивают благословение с росой?

Все впивали, приговаривая: «Благослови, Госпожа Божья, уста и гортань и всю часть желудочную».

А потом впивались в миски, которые наполняла толстая сестра, черпая из алюминиевого тусклого котла – по контрасту с нимбами и серебряными плащами. Потроха, значит, требовали.

И у Клавы – тоже.

В миске оказалась размазанная овсяная каша.

– Таковую в самых-самых английских школах едят! – шепнула Соня. – Мы всё лучшее ото всех, я тебе уже сказала.

За кашей, однако ничего не последовало. Но и не хотелось. Быстро насытились грешные потроха. А кислый вкус росы держался на языке и нёбе.

– Спасибо, Госпожа Божья, за щедрости немерянные, – несло разноголосом.

Сама Свами при трапезе не показалась – доверяла, значит, помощницам и всему солидарному Сестричеству.

Клава решила добавить от себя:

– За заботу о части моей желудочной.

Подробная благодарность – никогда не лишняя.

– Пошли в сад, – потянула за собой Соня.

В саду уже развернулись листочки на кустах, хотя весна поздняя. И первые цветочки, названия которых не знала городская Клава.

– Пока – рано, а скоро цветов станет – море! Увидишь еще.

Над дощатым глухим забором виднелись стандартные дома. Странно было, что существует так рядом этот мир, где живут и ругаются скучные люди, похожие на мамусеньку с папусей, и нисколько не похожие на счастливых обитательниц корабля спасательного, принявших Клаву в свое лоно.

А почти сразу за забором торчал длинный и нелепый подъемный кран. Неужели еще ближе дома подстроятся?!

Соня проницательно посмотрела на Клаву.

– На эту скверну ихнюю и смотреть – грех. Свами сказала, обретем скоро пустынь в лесу, построимся, чтобы жили рядом только птички небесные. Поедем, поучим посреди Вавилона и назад, подальше от невров.

– От кого?

– От невров. Ну так мы коротко неверных называем. Раз Свами сказала, так и будет. Как скажет – так всегда и сбудет.

– А почему она Свами называется? Красиво – не по-русски так.

– Очень даже по-русски. Значит это, говорит каждый раз: «с вами я», с нами, значит, со всеми.

Над крышей корабля планировало несколько голубей, залетали в слуховое окно.

– Птицы туда летят, где души безгрешные, – объяснила Соня.

Клава подумала было неосторожно, что много в Питере безгрешных душ – если считать по голубям. Но Соня, конечно, смогла бы объяснить, что те голуби – другие, а на души безгрешные только здешние клюют. Настолько очевидное объяснение, что Клава и не стала затруднять сестру разумную столь лишним вопросом.

В саду делать было нечего. И зябко в плащах, накинутых прямо на голое тело.

– Пошли. А чего еще делаете? Телек смотрите?

– Ты что?! Да это знаешь какой грех?! Да тебя за вопрос только! Ну-ка пошли! А то и на мне грех недонесения, что слушала и не сказала. Ты бы еще попросила в кино или на дискотеку! Пошли-пошли. Ты мне в любовь поручена, мне и пострадать.

Подталкиваемая Соней, Клава снова поднялась на второй этаж. Заглянули вместе в молельню – там стояли на коленях несколько сестер и боровки сзади.

– У себя, наверное, Свами, – заключила Соня.

Они дошли по коридору до дальней двери. Соня толкнулась без стука, как заметила Клава. Вот как – даже со Свами всё общее. Или почти.

Сама Свами сидела в кресле и читала какую-то большую книгу.

Комната ее была нормальная – с кроватью, столом, телефоном, комодом. Разве что не хватало телевизора на комод. Сидеть за столом, и трапезовать, наверное, тоже, для самой Свами грехом, конечно, не было. В углу икона с женским ликом, как в молельне. Четыре лампадки горели по четырем сторонам квадратной доски.

Свами посмотрела своими иссиними глазами – кажется, ничего ей и рассказывать не нужно: сама всё видит насквозь и дальше.

– Сладкая Свами, я виновата, дай мне любалок сколько надо. Сестра Калерия спросила, можно ли телек посмотреть. Значит, плохо учила я.

И быстро чмокнув Свами ручку, Соня вынула плетку из привычного, видать, места в комод.

– Ревностна ты, сестричка Соня, молодница кроткая, одобрила Свами. – Ложись.

– На ложе твое? – с трепетом переспросила Соня.

– Заслужила, чего там, – благодушно махнула рукой Свами.

– «Госпожа Божа...», – уверенно забормотала Соня, снимая плащ свой весталочий и ложась. Волосы еще отбросила, чтобы не прикрывали объект внушения.

Свами отстегала ее довольно крепко.

– Ну ладно. Истерпела и будет.

Соня встала и поцеловала Свами ручку.

Наступила какая-то растерянная пауза. Клава догадалась, наконец, что ждут и ее покаяния.

– Сладкая Свами, это не сестра Соня, это я грех спросила. Дай и мне любалочек этих сладеньких.

– Молодица, правильно начинаешь, – кивнула Свами. – Давай и ты на то же место. Клава улеглась ничком повторяя громко и отчетливо:

– «Госпожа Божа, суди меня строже, за малый грешок, секи поперек, боль стерплю, на радость улечю».

Слава Боже, запомнила всё.

– Полюби ты сестричку любовью деятельной, – услышала она голос Свами. – Ты наставляешь, вот и наставь.

Удары сестрички ожигали, как от взрослой руки.

– Хватит, – приказала Свами.

Клава поднялась.

– Спасибо, сладкая Свами, – поцеловала ручку. – Спасибо сестричка, – поцеловала ручку и Соне.

– Не, руку только мне целовать, – поправила Свами. – Другим – грех. За это бы тоже, ну да Божа простит. Сестру любовно поцелуй.

Клава поцеловала Соню в губы и теперь сама просунула вперед кончик языка. И встретила язычок Сони.

Соня изгибалась язычком, проводя по деснам, а смотрела при этом глаза в глаза так, будто постигала глубокие тайны мира.

– Ну идите, сестрички сладкие.

– Я так испугалась за тебя! – вскрикнула Соня в коридоре. – Что ты сама любалок не попросишь. Всегда сама проси, при наималейшей вине, поняла? Сама любалок не попросишь – возьмут и высекут.

– А разве не секли сейчас?

– Ты что?! Любалки – они любовно даются. И в наставление. От них только здоровая кровь быстрее по жилам, и во всем теле любви прибавляется. Я уж и не могу без любалок как без молитвы. Как увижу, кого учат, и самой подставиться хочется. Зато секут плеткой с узелками – в кровь. Если высекут – неделю на животе проваляешься и спасибо скажешь, что жива, – добавила тихо: – Такими плетками и весталок порченных засекают. В смерть!

Клава хотела спросить: «А как же милиция разрешает – в смерть?!» Но не решилась, испугавшись, что за помин милиции придется попробовать новых любалок – хуже чем за телек.

Вместо этого она спросила:

– А тебя секли?

– А как же! От греха невольного никто не уберется. Ирка моя, правда, чего придумала: по три раза в день к Свами бегала: «Ой, грешна, ой накажи, добрая Свами, из своей ручки сахарной!» Думала, лучше пусть три раза в день любалочкой пощекочут, чем раз высекут в лежку. Но Свами догадалась, она всё-всё понимает, потому что в нее Божа входит, сама Мати, она и есть Мати на Земле воплощенная, а мы можем в Дочи ее на вечерней радости воплощаться. Да, Свами поняла всё, говорит: «Наговариваешь ты, миленькая сестричка, на себя; не в том твой грех, что про мамины блинчики вспомнула, а в том, что ты – раба лукавая, Богу и меня обманываешь! Разложите, кричит, ее!» И высекли мою Ирочку узловаткой настоящей так, что не неделю на животе отлежала, а две. Я тоже секла – Свами приказала. А чуть бы послабила ей – сама бы легла.

– Но ведь и тебя – всё равно. Ты сама говорила. В другой раз. За что-то?

– За так. Свами позвала ласково и удивляется: «Как же так, сестричка Сонечка, ты уж скоро полгода у нас в семье лелеишься, а не согрешила ни разу грехом нераскайным?» Мне и самой страшно сделалось, что погибну в грехе без спасения. Я не догадалась сама раньше, а Свами – она всё видит и понимает насквозь и вглубь. Ведь не может быть, чтобы все грехи самой перечесть. Я и плачу: «Нет, Свами сладенькая, не может такого быть! Все мы грешные.

В чем – не знаю, а грешна!» «Вот правильно понимаешь, сидят в тебе грехи нераскаянные, пора их выгнать, пока душа в них не загнила». И высекла узловаткой. Я и облегчаться три дня не вставала, Санечка, боровок мой, таз подкладывал. И чего придумал, такой смешной: «Я тебя, сестричка, буду не ладошкой бальзамом намазывать, а языком». Лезет, лижет – и смешно, и больно. А во мне, после терпежки, сил прибыло, по моему слову знаешь как плачут и молят, когда в Вавилон выбираемся? Я уже многих обратила. И с приданным приводила. Тебя тоже высекут когда-то. И хорошо: Божа любит, когда перетерпят за нее. Без терпежки не спасешься. А у тебя ведь и сейчас после креста жалейка жженная. Ты скажи своему боровку Валерику, пусть бальзам языком кладет. Обхохочетесь оба. А Божа смотрит и радуется, что всем хорошо, кто ей поклонился. Она меня любит уже. Вот, например, пошли учить невров в Вавилон ихний мерзкий, а я нарочно босая пошла. Ну и смеются эти – невроы темные. Мальчик один тоже смеется: «Пройди по стеклу и ножки не порежь, тогда поверю». А он – светленький такой, мне понравился. Подумала: «Ну, помогай, Божа!» И пошла. Только пальцем незаметно впереди щупаю, а под полой не видно, потому что плащ-то широкий. Щупаю и стекла отпихиваю. Прошла, посмотрела ему прямо в душу, потом пятку свою нерезанную показываю и приказала вдруг: «Целуй!» Он поцеловал и побежал следом. Я тебе покажу. Толек. Я, может, Санечку от себя прогоню и Толика в боровки возьму. Он тоже хочет, скулит под дверью.

Ну вот и привела Госпожа Божа Клаву в корабль спасательный, в семью верных и избранных. Долго вела Она-Они, испытывали терпение – и довели наконец до спасения.

Но и делать было нечего – вот так сразу. Невозможно же спастись каждую минуту. Разве что опять Соню обнять или боровка позвать для братских поцелуйчиков? Клава раньше и с мальчишками обжималась, и на коленях у Павлика бомбочки с ликером зарабатывала, но между других дел! А здесь, вроде, и нет ничего другого.

И снова Соня будто мысли прочитала:

– А жизнь здесь – другой не надо. Ни уроки учить, ни дома крутиться. Меня дома еще до корабля и в кружок английский, и в теннис. Совсем спятили предки, а душа гибла. И ничего нельзя, и «упаси Бог» каждую минутку! Уже бы аду беспрощенному меня обрекли, если бы не Свами.

– А тебя не ищут – родители? – опасаясь за себя уточнила Клава.

– Найдут они – как же! Я ведь из Москвы. А пишу им два раза в год – через сестер секретных – в Пензе письма опускают. И пишу каждый раз: будете искать насильно, сожгусь в вашей мерзкой квартире – и сама, и со всеми книжками. Как же, у меня ведь папочка – фил! Книжки собирает, любит их больше нас с мамой. А что в этих книжках? Ни слова правды про Господу Богу. Не понять ему, что все прежние книжки без Неё-Них напрасные... Хочешь – и тебя в Пензе спрячут. Или в Москве... Зато здесь в корабле – жизнь! Ведь чего всем хочется? Одной ласки. У всех одно на уме, я еще по литературе проходила раньше на все пятерки. Любовь да любовь. Только отвлекаться от любви приходится – потому что жрать надо заработать. Божа сначала Адама с Евой в раю поселила, а потом когда выгнала за ложь перед Нею-Ними, сказала: «Будете пахать в поте спины». И пашут все. А мы как в раю снова: любим и больше ничего. И не пашем, а подкрепляет Госпожа Божа по щедрости Её-Их. Поняла? И радуемся. Каждая – отдельно, а утром и вечером вместе. Пора уже.

10

И тут их прервал колокольчик.

Соня определила точно – как по внутренним часам.

– Зовут, – спохватилась Соня. – Побежали.

– Быстрее! – торопила, таща Клаву за руку. – Кто последняя – щипчики получит!

Сестры бежали со всех сторон.

Они прибежали опять в молельню.

Из другой двери в передней стене вышла Свами.

Все упали навстречу ей на колени и лбами коснулись пола. И Клава за всеми.

– Все здесь? – звучно спросила Свами.

Как будто и сама не проникала всех насквозь – и каждую отдельно. Каждого тоже.

– Все наличные, а последняя – сестра Надя, – доложил горбатый мужичок.

– Сплюха-копуха! – закричали все. – Сплюха-копуха!

– Щипчики ей – и с вывертом! – приказала Свами.

Горбун вывел ту самую толстую глупого вида кухонную сестру, которая размазывала кашу по мискам, сорвал с нее обвисший потертый плащ, скорее – балахон, и все сестры с визгом бросились на нее и стали щипать дряблую кожу. И Клава со всеми.

– Ой, Божа, помилуй, Божа! – повторяла толстуха.

Боровки в этом не участвовали. Они расположились сзади, стоя на четвереньках – как и полагается их породе.

– Ну будет, – кивнула Свами, и толстуху оставили в покое.

Та подняла свой балахон и поплелась на место.

– Кто копается, не бдит перед Госпожой Божей, тот притягивает к нам мерзость мира, – объявила Свами. – Прогоним мерзость мира, любезные сестры!

– Прочь мерзость мира, прочь мерзость мира, – быстро-быстро стали бормотать все.

И Клава со всеми.

– Быстрее! – вскрикивала Свами. – Еще быстрее!

Захлебываясь быстрыми словами, Клава словно бы взлетела. Ей казалось, от нее исходит сила, отгоняет эту мерзость, которая отодвигается и вылетает в окна.

– Люди – белые обезьяны! – возгласила Свами. – Люди неверные – белые обезьяны!

И все забормотали, перегоняя подруга подругу:

– Белые обезьяны... белые обезьяны... белые обезьяны...

Отвратительные белые обезьяны – правда! И сама Клава была прежде только белой обезьянкой. А мамусенька с папусей – давно. А Павлик? Он и до обезьяны не дотягивал. Да все, все, все!

И как же сладко очиститься, уйти из обезьяньего стада!

– Знают только жрачку и случку!

– Жрачку и случку... – забормотали, – жрачку и случку...

– Только мы вышли из обезьян! Только мы познали любовь Божи!

– Любовь Божи... любовь Божи...

И сладко стало, и легко – будто уже в раю.

– Мы спасемся! Наша – жизнь вечная!

– Вечная... вечная... вечная...

– Мы спасемся, когда Госпожа Божа выметет за порог невра и неверок как мусор человеческий! Мусор – в пекло, а нам в чистом доме с Мати, Дочей и Святой Душой – жизнь вечная!

Вечная жизнь – это же главное счастье! Чтобы никогда не лежать в страшном гробу, как сосед Устиныч. Так сосед ведь и был – мусор человеческий, потому и смела его Госпожа Божа в гроб – как в совок мусорный.

Клава познала, что Госпожа Божа полюбила ее, маленькую и ничтожную. Если бы не полюбила, не привела бы сюда, оставила в мерзкой их комнате рядом с обезьяней случкой папуси с мамусенькой.

Полюбила ее Божа, полюбила!!

Полюбила – полу-била. Надо терпеть. Бьет – значит любит.

Кто-то вскрикнул сзади. И сразу несколько вскриков в ответ.

Клава и сама, не помня себя, кажется, закричала.

То ли колокольчик зазвонил снова, то ли в ушах звонили колокольчики небесные.

– Хватит! – донеслось сквозь звон. – Хватит. Очистились на сегодня.

Клава очнулась.

– Ну, кто пописался малость? Сестра Ирочка, ты боровков пощупай. Потому что твари лукавые.

Ира вела из задних рядом двух боровков. Один – Валерик. А другой – кудрявый и светленький – Клава подумала, это и есть тот самый Толик, который целовал Соню в пятку.

Клаву тем временем проверила Соня – тем же жестом, как проверял папузик – дома, далеко.

– Сухая ты, – оглянулась на идущих боровков и добавила: – А я вот – мокрая.

Соня встала.

– Я пописалась малость, сладкая Свами.

– Выходи, – благожелательно кивнула Свами.

Все трое без всяких команд обнажились – знали порядок.

– Пописались малость, значит слова тоже наружу просятся, – сказала Свами. – Всем нам в Слабодном Сестричестве нашем нечего скрывать друг от друга – ни на теле, ни в душе. Ну и скажите громко и прямо мысли ваши. Ты, – она указала на Валерика.

– У меня новые мысли появились, – сразу и свободно начал Валерик, – когда утром увидел новую сестру нашу Калерию. Мне захотелось обнимать ее и целовать больше, чем других сестер. И я пожелал изо всех сил, чтобы сладкая Свами отдала меня ей в боровки. И когда сладкая Свами отдала, я очень был рад. Вот.

– Хорошо. Прямо сказал братик наш. Кто спросить хочет?

Ира спросила:

– А червя своего не захотелось запустить в желейку к новой сестре?

– Захотелось, – ответил Валерик.

И все увидели, что ему и сейчас снова хочется.

– Еще кто спросит? – кивнула Свами.

Наступило молчание, казалось, больше никто не спросит, и вдруг спросил горбун:

– А раньше, когда ты еще не жил в семье нашей спасательной, тебе не хотелось того же к своей бывшей матери, которая тебя родила?

– Хотелось, – свободно сознался Валерик.

– Расскажи подробно, когда хотелось?

– Когда мы вместе в баню ходили.

– Так там со всеми хотелось, наверное?

– Нет, со всеми там не хотелось, только с мамочкой. И еще когда ночью видел, как они с папочкой. И когда она меня шлепала.

– Хорошо, – кивнула Свами. – Еще есть?

Таким тоном говорят учительницы, когда не хотят больше вопросов.

– Еще, – не отставал горбун. – А тебе не хотелось, возлюбленный братец, того же самого и с нашей истинной матерью земной и небесной, с нашей сладкой Свами?

Наступило особенное молчание.

Но тело ведь послушно душе и выдает душу. Голому правду не скрыть. Валерик и попытался бы, да не смог, потому что все увидели, как ему и сейчас хочется.

– Хотелось.

– Ну, вроде мне ясно всё, – сказал горбун.

– А у меня к брату Григорию вопрос, – сказала Ира.

– Кто спрашивал, того и спросят, – кивнула Свами.

– А тебе, брат Григорий, не хотелось свой червь поднять на нашу сладкую Свами?

Брат Григорий оставался в своем грубом балахоне – но балахоны ведь легко срываются. Да и привык он говорить правду в семье.

– Хотелось в мерзостных грехах моих, – подтвердил брат. – Еще как хотелось, сестра.

– Сегодня у нас в самом воздухе правды витают, возлюбленные сестры, – звучно сказала Свами. – Спросим теперь братика Толика.

Угадала Клава – кого вывели. Одним словом описала его Соня – а вышел как на картинке. Госпожа Божа догадливость дарует.

– У меня сегодня было желание погулять по городу, поговорить с прежними друзьями, – сказал Толик. – Пепси попить.

– А мороженого тебе не хотелось?! – не блудя чинного ритуала крикнули сзади.

– По порядку, сестры и братья, по порядку, – прикрикнула Свами. – Так что про мороженое?

– Мороженого – нет, потому что не жарко еще. Пепси или фанту.

Клава, хотя только один день здесь, тоже вдруг вспомнила по пепси. И про ужин у Наташи. Словно какой-то ветер подул. Про пепси показалось интереснее, чем про мечты горбуна Григория червем проползти в самую сладкую Свами.

Свами не спросила, есть ли еще вопросы к брату Толику, и Клава поняла пронизательно, что даже великая Свами не желает здесь больше воспоминаний про пепси или, может, жвачку.

– У сестры Сони правда тоже наружу рвется.

– Я вся в грехах, сладкая Свами, и хочу сказать, что позавидовала сегодня новой возлюбленной сестре Калерии, с которой ты бдела всю ночь. Я хотела быть на ее месте, чтобы снова и снова принимать от тебя полное вокреещение. А сейчас только что узнала я, что еще виновата, что не отвратила братика Толика от мерзких мирских мыслей, потому что я привела его сюда, просветила в истине, и значит должна была каждый день и час наставлять его и спрашивать про любовь к Мати, Дочи и Святой Душе, чтобы не оставалось места грешным и мерзким мыслям. А я не спрашивала и не наставляла. И половину материнского внушения для него должна от тебя принять и я.

– Хорошо, сестра. Ну кто что спросит у сестры Сони?

– А не испытываешь ли ты, сестричка Сонечка, других чувств к братику Толику? Не братских, а мерзких? Не мечтаешь ли ты об обезьяньей случке? – спросила Ира.

– Я испытываю, сестрица возлюбленная, много чувств к братцу Толику. И хочу его спасти от мирской скверны, и дать ему всю любовь, которую могу. И, помолясь Госпоже Боже, обцелую создание Её-Их, и в губы, и в пупок, и червь его мерзкий успокою в своих устах, потому что он создан таким и не виноват в мерзости своей. А про то, что ты спрашиваешь, отвечу истинно, что нет у меня мыслей об обезьяньей случке, потому что, я верю, что благодать меня защищает, истекающая от Мати, Дочи, и Святой Души, которая передается через нашу сладкую Свами – и не мечтаю я о случке и в желейку мою его червя впустить мне было бы так же мерзко, как поцеловать аспид.

И посмотрела на Иру – почти как смотрит сама Свами, почти как лики с икон.

До чего же здорово говорила Соня. А ведь почти ровесница Клавы. Потому что уже пожила в семье, потому что привыкла ходить, учить истине.

После такого ответа больше никто ничего спрашивать у Сони не стал.

– Очень хорошо, сестра Соня, – сказала Свами. – Благодать льется из твоих золотых уст. Но заметьте, сестры и братья, сегодня вылилась правда у тех, кто причастен больше к новой сестре нашей Калерии. Братик Валерик – верный ее боровок, сестрица Соня – первая сестра и наставница, братик Толик – через сестрицу Соню. Значит вопросы есть и к сестре Калерии.

Клава поняла, что ее выход.

Она встала рядом с Соней, сбросила свой серебряный плащ, давно уже не стыдась раздеваться при всех – почти сутки!

– Вот и Калерочка наша, – сказала Свами. – А желейка-то припухлая. Мало, Валерик, бальзама кладешь своей сестричке. Скажи сначала мне, сестра Калерия, как тебе в новой семье показалось?

– Ой, сладкая Свами, так хорошо, так светло. Позвали когда хором Госпожу Божу, я вся прямо как взлетела! И все любят так, все целуют.

Клава говорила чистую правду, в эту минуту ей очень-очень нравилось всё. Но и немного она наигрывала, чтобы понравиться и Свами, и всем.

– Лучше чем прежде в мирском доме?

– Конечно, лучше! Дома – гадость одна.

– А папа твой мирской к тебе в трусы не лез, сестричка? – спросил горбун Григорий.

– Конечно, лез. Полезет ко мне, а потом к матке перелезет! И пьяный, и вообще.

Примерную правду она говорила, но получалось как-то не так. Почему-то похоже получилось как у Толика про пепси. Здесь – иначе говорят, как Соня, но Клава не умела.

И Свами перевела вопросы в другую сторону.

– А вот ты, сестричка, с нами первый день, многого еще не понимаешь, как мы живем, вот и скажи просто, как новенькая: что ты думаешь про Валерика, который рассказал, что мечтает запустить своего мерзкого червя в меня, свою мать духовную, через которую с ним сама Мати небесная говорит? Что ты про это думаешь? Да и брат Григорий поведал похожее.

Клава не знала, что ответить. По школьной привычке надо было не выдать товарища, заступиться, но ведь здесь, если начнешь вилять, и сама в виноватых окажешься! Да и Свами всё понимает – виляй не виляй. И лики со стен и с самого потолка пронзают насквозь иссиними очами.

– Он правду сказал. А что хочет ход червем сделать – все мальчишки иначе любить не умеют. Если хочет – значит любит тебя, сладкая Свами. Ты такая!.. Такая, что тебя нельзя не любить. Даже невозможно. И я тебя очень люблю.

– Но ты ведь не хочешь, как он?

– Так у меня же нет совсем, – и Клава показала рукой, где у нее нет.

Все засмеялись громко, что не соответствовало духу ритуальной радости.

Свами не рассердилась на неуместный смех.

– Ну хорошо. Пора раздать всем сестрам. И братикам тоже. Главный грешник здесь у нас... Ну-ка, ты ответь, – обратилась она опять к Клаве, – кто здесь главный грешник сегодня?

Одного кого-то придется выдать на муку какую-то. Клава быстро поняла, кто рассердил Свами и подыграла ей, хотя и начала издали:

– Главная я, потому что один день здесь, еще не очистилась...

– Молодица, сестричка, – нетерпеливо прервала Свами, – а после тебя кто?

– После меня – братик Толик. Потому что от мирской скверны не очистился.

– Во! – воскликнула Свами. – Светлая ты сестричка, светлая. Словно волосы твои цвет души переняли. Самую суть поняла простым своим сердечком. Скверна, которая снаружи к нам лезет из Вавилона, погибели обреченного – вот в чем зло! А потому братика Толика за глубокий грех и сугубое избежание для его же исправления, во веки веков спасения и приобщения к истине во имя Мати, Дочи и Святой Души будем править большим правежом. Помоги, брате Григорий.

Григорий сноровисто выдвинул скамью, одним рывком распластал Толика, спутал ему ноги как коню в ночном, а за руки взял сам. Охватил запястья как наручниками.

– Госпожа Божя, секи меня строже, – забормотал Толик.

Свами подала Клаве тяжелую плетку, на хвостах которой завязаны были узлы.

– Тебе начинать. И хорошенько!

Не постарайся, сама на ту же скамью правиться ляжешь – это Клава уже поняла прочно.

И хлестнула изо всех сил.

– Выше руку поднимай, – подсказала Свами как внимательная учительница.

Клава подняла руку выше – замах получился шире.

– Ай-ай, – крикнул Толик.

– Видишь, – удовлетворенно кивнула Свами, – получилось.

Клаве понравилось быть способной ученицей и она старалась. Толик вскрикивал и дергался, Свами кивала. Потом остановила:

– Тебе хватит. Сестричка Соня, теперь ты.

Соню учить не надо было. Она секла уверенно, словно не рассказывала недавно, как мечтает обцеловать братика Толика – всего.

– Ну и хорошо. Довольно. А теперь, сестра Сонечка, ходи за ним, лечи. Вылечишь, будет теперь твой боровок. Обцелуешь как хотела.

И протянула Соне баночку с бальзамом.

Соня тут же и втерла бальзам в исправленные до крови булочки братика.

– В сторону подвинь, – небрежно сказала Свами.

Горбун с другими боровками отставили скамью к стене вместе с лежащим на ней Толиком.

Свами подошла к большой иконе на передней стене и зажгла новые свечи.

Потянуло терпким запахом.

– Время, сестры и братья, – глухим торжественным голосом, какого Клава еще не слышала, возгласила Свами, – свершить великое таинство рождества Дочи от Мати, зачатой непорочно во спасение мира и всех верных на нем! В бубны ударим!

В руках у боровков вовремя оказались барабанчики или бубны, и они ударили дружно. У сестер в руках бубнов не было – видимо, Свами больше верила в мужское чувство ритма.

Сестры затаили под рокот бубнов:

«Для спасения нас всех, чтобы смыть адамов грех, Мати Дочу родила в День Счастливого Числа».

Ритм ускорялся, куплет повторялся снова и снова, слова сливались...

Снова мысли понеслись кругом, Клаве показалось, она взлетает. Сбоку вскрикнули. Вскрикнула и она.

– Меня, Свами, меня! – встав на колени, закричала сестра, простирая руки.

– Меня, – закричала и другая.

– Меня... Меня... – зывали со всех сторон.

– Нисходит Мати Божя в меня, – тяжело утробно возгласила Свами. – Нисходит Мати Божя. А Доча Божя Её-Их воплотится... Доча воплотится... в сестру возлюбленную Калерию! – выкрикнула Свами.

– Доча Божа... Доча Божа... – ближние сестры стали целовать Клаву – в руки, в ноги, сзади – куда удавалось дотянуться.

Но тут же подскочил горбатый брат Григорий, выхватил Клаву и понес туда, где уже ждала Свами, скинув плащ и широко расставив ноги.

Клава почти не чувствовала несущих рук, ей казалось, она летит, поднятая чудесной силой.

Горбун сзади подал Клаву под арку расставленных ног воплощенной Мати Божи. Мати подхватила ее под грудки и замерла так.

Гремел хор:

«Для спасения нас всех, чтобы смыть адамов грех, Мати Дочу родила в День Счастливого Числа».

– Дочу Божу... вам... на спасение... – утробно с натугой выкрикивала Мати. – Родила!!!

Выкрикнула пронзительно и разом выкинула Клаву вперед на услужливо подставленные руки.

Не маленькую Клаву выкинула в мир Мати Божа, а Дочу Божу. Клава исчезла, растворилась где-то далеко внизу в оставленном греховном мире.

Она вдруг напряглась вся, выгнулась спиной как рыбка, так что затылок почти коснулся пяток, и забилась крупно.

Кто-то кричал, кто-то целовал; потом и из мужчин кто-то закричал, кто-то зацеловал. Само грешное человечество ликovalo, обретя Спасительницу и чая спасения. И спасала Она. Чем больше выгибалась спина, чем ближе надвигались пятки на затылок, тем мощней исходила из Нее спасительная сила. Горячий озноб сотрясал Её всю. Воплощенную Дочу.

Истинно, Она – Доча Божа. И всегда была Ею, только раньше не понимала. Она – маленькая и упругая, как рыбка, и Она же – бесконечная. Она – во всех, и все – в Ней.

Губы сами задвигались, язык забился отдельной маленькой рыбкой и полились слова, которых Она не знала – не из Нее, а через Нее:

– Доча... для вас... Млечным путем, моим молоком... Всех напою... Всех приведу...

И то ли эхо отозвалось, то ли спасенные люди Её:

– Млечным путем – твоим молоком... Млечным путем – твоим молоком...

– В День Счастливого Числа! – вырвалось у Нее пронзительно.

И в ответ:

– Для спасения нас всех, чтобы смыть адамов грех, Мати Дочу родила в День Счастливого Числа... В День Счастливого Числа...

Дальше понеслись слова – сквозь Нее, из Нее:

– Мати Божу полюбите, покаянья приносите... Благодать святому чреву, вот и выродила Деву... В День Счастливого Числа вам Спасенье принесла...

Какое светлое счастье – лететь сквозь радугу в небо на словах как на ангельских крыльях.

И возвращались отклики:

– Чреву... Деву... –стливого числа... –сенья принесла...

Доча Божа качалась на волнах или на руках, растаиваясь в любви.

Госпожа Божа, немеренная в милостях своих. Когда-то для бедной Клавы огонек наслаждения тлел в тоненькой ее нежной жалеечке, теперь вся Доча Божа плавилась в небесном наслаждении, как одна широкая щедрая жалейка, вобравшая всё и всех.

Так понятно, что всем нужно прикоснуться, унести каплю божеской славы. И тем счастливей и невесомей Она, излучая небесный свет и поднимаясь ввысь силой тысячи поцелуев.

Ста тысяч поцелуев.

Растворилась-унеслась, с братцем-ветром обнялась...

11

Теплый лампадный свет проник сквозь смеженные веки.

Чудный Голос – не женский и не мужской – шептал:

«Не плачь, дитя, ты так прекрасна, твоя слеза ведь не напрасна, где в грех и мерзость упадет, там роза света прорастет...»

Захотелось больше света, и глаза открылись. Сияло близко любимое лицо. Иссиние огромные очи излучали нежность.

– Мати Божа, ты со мной?

– Очнулась, сестричка Калерия?

– Я – не Калерия... Я Доча Твоя, Мати Божа.

– Ты побыла, ты воплотилась. А теперь надо возвращаться, сестричка.

Как Она не понимает ясной ясности?

– Я Доча Твоя.

– Надо возвращаться и смиренно нести крест, сестричка возлюбленная. Гордыня – грех. Вот и боровок твой, Валерик. Полечит тебя, жалеечку твою обожженную пожалеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.